

三島由紀夫

Юкио
МИСИМА

Исповедь маски

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44
М 65

Yukio Mishima
KAMEN NO KOKUNAKU
Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1949
All rights reserved

Перевод с японского Григория Чхартишвили

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-12152-2

© Г. Ш. Чхартишвили, перевод, 1993
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

«...Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я об этом много думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинается с идеала Мадонны, а кончается идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит».

Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я очень долго пытался доказать окружающим, что помню момент своего рождения. Взрослые всякий раз поначалу смеялись, а потом решали, что я над ними издеваюсь, и смотрели на бледного мальчика с совсем недетским лицом неодобрительно и укоризненно. Если это были какие-нибудь малознакомые люди, бабушка, боясь, что ее внука сочтут за идиота, резким голосом приказывала мне пойти куда-нибудь поиграть.

Все еще посмеиваясь, взрослые обычно пустились в какие-нибудь научные рассуждения. Стараясь выразиться попроще, чтобы ребенок понял, они понемногу распалялись. Младенец рождается с закрытыми глазами, говорили они. Но если даже и с открытыми, все равно его память не способна удержать увиденное. «Ну как, понял?» — спрашивали взрослые, похлопывая по плечу все еще сомневающегося ребенка. Тут они обычно спохватывались, вообразив, что попались на удочку маленького шутника. С детьми надо держать ухо востро.

Чертенюк наверняка поддавливает нас, чтобы спросить про «это самое». Сейчас пролепечет своим невинным голоском: «А *откуда* я родился? И почему?»

Поэтому в конце разговора взрослые всякий раз умолкали и смотрели на меня с какой-то непонятной оскорбленной улыбкой.

На самом деле их подозрения были совершенно безосновательны. Я вовсе не собирался расспрашивать их про «это». Да и потом, мне в голову бы не пришло расставлять взрослым какие-то ловушки — я слишком боялся вызвать их неудовольствие.

И все же, невзирая на все насмешки и разъяснения старших, я твердо знал, что помню миг своего рождения. Может быть, мне рассказал кто-то из присутствовавших при родах, а я потом об этом забыл? Или виной всему мое своевольное воображение? Как бы то ни было, одна картина так и стоит у меня перед глазами. Это край тазика, в котором купали новорожденного. Тазик был совсем новый, из отполированного свежего дерева; изнутри я видел, как на его бортике ослепительно вспыхнул луч света — яркий, золотой, и всего в одном месте. Лившаяся в тазик вода пыталась слизнуть этот золотой блик, но так и не сумела. Наоборот, вода вокруг меня, то ли отражая луч, то ли вобрав его, и сама заискрилась огоньками, по ней прошла мелкая сияющая рябь.

Самый сильный аргумент против подлинности этого воспоминания состоит в том, что я родился не днем, а в девять часов вечера. Так что никакого солнца в тот момент сиять не могло. Надо мной подшучивали, говоря, что это, наверное, был свет электричества, но я без труда отмахивался от соображений здравого смысла и по-прежнему оставался непоколебим: пусть это было хоть глубокой ночью, все равно край тазика вспыхнул золотым сиянием. И я был твердо уверен, что видел тот яркий луч не когда-нибудь, а именно сразу после своего рождения.

А родился я через два года после Великого землетрясения. За десять лет до этого события мой дед, губернатор одной из колоний, был вынужден подать в отставку: чтобы замять один крупный скандал, он взял на себя вину своего подчиненного. (Я не приукрашиваю эту историю — в жизни не встречал человека, который с таким абсолютным, идиотским доверием относился бы к окружающим, как мой дед.) И с тех пор дела нашей семьи со стремительным, я бы даже сказал, каким-то залихватским ускорением покатались под гору. Чудовищные долги, опись имущества, продажа имения — чем хуже шли денежные дела семейства, тем болезненнее воспалялось тщеславие его членов, словно одержимых некоей темной силой.

Вот почему на свет я появился в запущенном наемном особняке, расположенном в далеко не самом престижном районе столицы. Этот дом, с мрачными, закопченными стенами, стоял на склоне холма; с одной стороны в нем было два этажа, с другой — три. Вид он имел довольно заносчивый и нелепый: помпезные железные ворота, широкие газоны, гостиная размером с буддийский храм. В особняке было множество плохо освещенных комнат и целых шесть служанок. Всего под этим скрипучим, как старый сундук, кровом жили десять человек: дед, бабушка, мои родители и прислуга.

Причина злосчастий нашего семейства коренилась, с одной стороны, в неумном предпринимательском пыле деда, а с другой — в вечных болезнях и безрассудной расточительности бабушки. Дед то и дело увлекался какими-то сумасшедшими проектами, которые подсовывали ему всякие сомнительные приятели, и отправлялся за тридевять земель в погоне за золотым дождем. Бабушка, происшедшая из старинного рода, относилась к своему супругу с ненавистью и презрением. Нрава она была неустойчивого, но душу имела поэтическую — с некоторым налетом безумия. Хроническая невралгия постепенно подтачивала ее нервную систему, одновременно придавая еще бóльшую остроту ее уму. Допускаю, что приступы депрессии, мучившие бабушку

вплоть до самой смерти, были следствием тех страданий, которые доставлял ей дед своими похождениями в более молодые годы.

Вот в какой дом привел мой отец хрупкую и очаровательную невесту, мою будущую мать.

Утром 14 января 1925 года у нее начались схватки. А в девять часов вечера она разродилась хилым младенцем, весившим немногим более двух килограммов. На седьмой день ребенка нарядили в розовое фланелевое белье, шелковое кимоно с узорами, и дед в присутствии всех домочадцев торжественно написал мое имя на свитке, который поместил в семейный алтарь — токонома.

Волосы у меня долго оставались светло-золотистыми. Их натирали оливковым маслом до тех пор, пока они не почернели. Отец с матерью жили на втором этаже, и на сорок девятый день бабушка забрала меня у них, заявив, что таскать ребенка по лестнице вверх-вниз опасно. Таким образом, моя кроватка оказалась в вечно закупоренной комнате бабушки, где пахло старостью и болезнью. Там я и рос.

Когда мне был год, я упал с третьей ступеньки лестницы и расшиб себе лоб. Бабушка была в театре кабуки, и, радуясь свободе, мать с гостившими у нас двоюродными братьями и сестрами отца устроили шумное веселье. Когда мать пошла за чем-то на второй этаж, я побежал за ней следом, наступил на край ее кимоно и упал.

В театр срочно позвонили. Вернувшаяся бабушка остановилась в дверях, опираясь на палку, и пристально поглядела в лицо вышедшему ее встречать отцу. Потом медленно, чеканя каждый слог, спросила странно спокойным голосом:

— Он умер?

— Нет.

Тогда бабушка величественно и уверенно, словно жрица в храм, вошла в дом...

В новогоднее утро — мне тогда шел пятый год — я внезапно ощутил приступ тошноты, и меня вырвало чем-то кофейно-коричневым. Домашний доктор, осмотрев меня, заявил, что не ручается за мое выздоровление. Меня всего истыкали уколами камфары и глюкозы. Пульс не прощупывался. Через пару часов собрались все домашние посмотреть на мое мертвое тело...

Сшили саван: принесли мои любимые игрушки, приехали родственники.

Еще через час я вдруг обмочился. Старший брат матери, сам доктор, воскликнул: «Он выживет!» Появление мочи означало, что сердце снова заработало. Вскоре я обмочился вновь. Щеки у меня постепенно порозовели от света возвращавшейся жизни.

Эта болезнь — она называлась «самоинтоксикация» — стала хронической. Раз в месяц она непременно навещала меня, то в легкой

форме, то в тяжелой. Неоднократно случались опасные приступы. Со временем я научился различать по первым признакам приближающегося кризиса, близко он подведет меня к смерти или не очень.

Примерно к этому периоду относится мое первое, уже несомненное, воспоминание; его странная тень доставила мне немало страданий.

Я не помню, кто в тот день вел меня за руку — мать, няня, горничная или тетя. Не помню и время года. Предвечернее солнце неярко освещало дома на холме. Женщина — какая-то женщина — вела меня за руку вверх по улице, мы возвращались домой. Навстречу нам кто-то спускался, и моя провожатая, сильно потянув меня за ладонь, освободила проход. Мы остановились.

Эта картина бесчисленное количество раз воскресала в моей памяти, приобретая все новые и новые оттенки смысла, по мере того как я сосредоточенно размышлял над ней. Из всей сцены, мутной и размытой, мне совершенно ясно и отчетливо запомнилось лишь одно: этот кто-то, спускавшийся нам навстречу. Еще бы — ведь то было первое из видений, терзавших и преследовавших меня всю жизнь.

По улице спускался молодой парень. Через плечо он нес две деревянные бадьи для нечи-

стот, голова его была обмотана грязным полотенцем, румяные щеки сияли свежестью, глаза ярко блестели. Парень ступал осторожно, чтобы не расплескать свой груз. Это был золотарь. Он был одет в облегающие синие штаны и матерчатые рабочие тапочки. Я, пятилетний, смотрел на незнакомца во все глаза. Тогда впервые я ощутил притяжение некоей силы, таинственный и мрачный зов — хотя, конечно, и не мог еще уяснить значение произошедшего. То, что сила эта в первый раз предстала передо мной в облике золотаря, весьма аллегорично. Ведь нечистоты — символ земли. Это сама мать-земля поманила меня своей недоброй любовью.

Меня охватило предощущение того, что в мире есть страсти, обжигающие не меньше огня. Я смотрел на золотаря снизу вверх и вдруг подумал: «Хочу быть таким, как он». И еще: *«Хочу быть им»*. Отчетливо помню, что больше всего меня привлекли две вещи. Во-первых, синие в обтяжку штаны. И во-вторых, ремесло этого парня. Штаны плотно облегли его ноги и нижнюю часть туловища. Тело под ними жило и двигалось, приближаясь мне навстречу. Я ощутил прилив невыразимой любви к этим узким штанам — сам не понимая почему.

А что до его ремесла... В тот миг во мне родилось жгучее желание вырасти и стать золотарем. Я мечтал об этом с таким же пылом,

как другие мальчишки мечтают сделаться великими полководцами. Отчасти причиной моего решения были синие штаны, но, конечно, не только они. Было и еще нечто, странным образом зревшее во мне по мере того, как усиливалось желание стать золотарем.

Я чувствовал в этом ремесле какую-то особую скорбь, именно к этой испепеляющей скорби меня и влекло. Я очень осязаемо, даже чувственно ощущал *трагичность* работы золотаря. Мне мерещилось в ней и самоотвержение, и безразличие ко всему на свете, и родство с опасностью, и удивительная смесь тщетности жизни с жизненной силой. Все эти качества совершенно покорили пятилетнего мальчика. Наверное, я неправильно представлял себе ремесло золотаря. Скорее всего, мне рассказывали про какую-то совсем другую профессию, а я перенес услышанное на того парня, пораженный его нарядом. Другого объяснения быть не могло.

Поэтому неудивительно, что со временем мной овладели иные мечты. Сначала я хотел стать водителем «цветочного трамвая» (так назывались разукрашенные трамваи, ездившие по улицам в дни праздников), потом — контролером в метро. А все потому, что мне чудилось в их работе нечто «трагическое», нечто такое, о чем я не имел понятия, от чего я был навечно отстранен. Вот, например, контролер метро: разве не веяло ароматом трагедии от

того, как дисгармонировала его синяя, украшенная золотыми пуговицами форма с резким запахом резины и мяты, которыми постоянно несло тогда из подземки? Я был просто уверен, что жизнь человека, вынужденного находиться среди такого запаха, непременно «трагична». Итак, у меня было собственное определение «трагического»: нечто, происходящее в недоступном мне месте, куда стремятся все мои чувства; там живут люди, никак со мной не связанные; происходят события, не имеющие ко мне ни малейшего отношения. Я отторгнут оттуда на вечные времена; и эта мысль наполняла меня грустью, которую в мечтах я приписывал и той, чужой, жизни, тем самым приближая ее к себе.

Мое детское увлечение «трагическим» было, наверное, предчувствием грядущего несчастья: мне предстояла жизнь одинокого изгнанника.

Вот еще одно из моих первых воспоминаний.

Я научился читать и писать в шесть лет. А ту книжку с картинками прочесть я еще не мог — значит, мне было лет пять.

Из всех многочисленных книжек, имевшихся в нашем доме, я полюбил только одну, да и в той всего лишь одну-единственную картинку. Когда я разглядывал ее, долгий и скучный день пролетал незаметно. Если же кто-то ко мне приближался, я чувствовал непонятный

стыд и поспешно переворачивал страницу. Назойливая опека нянек и горничных выводила меня из себя. Мне хотелось рассматривать эту картинку с утра до вечера, день за днем, и так всю жизнь. Каждый раз, когда я раскрывал заветную книгу, мое сердце сжималось; но лишь одна страница действовала на меня подобным образом, остальные я проглядывал равнодушно.

На картинке была изображена Жанна д'Арк с поднятым мечом, верхом на белом коне. Конь свирепо раздувал ноздри и бил о землю мощным передним копытом. На серебряных доспехах Жанны д'Арк был какой-то красивый герб. Сквозь забрало виднелось прекрасное лицо — лицо серебряного рыцаря, который, занеся меч высоко-высоко, в синее небо, мчался навстречу смерти или, во всяком случае, навстречу чему-то злобному и опасному. Я был твердо убежден, что в следующий миг воин погибнет. Мне казалось: если очень быстро перевернуть страницу, то непременно увидишь картинку, на которой рыцарь лежит уже убитый. Кто их знает, эти книжки с картинками, — вдруг есть какая-то хитрость, позволяющая заглянуть в то, что случилось дальше...

Но однажды моя няня совершенно случайно открыла книгу именно на этом месте (я исподтишка наблюдал за ней) и спросила:

— А ты знаешь, кто тут изображен?

— Нет.

— Наверное, ты думаешь, это мужчина? А вот и нет, это женщина. Она переоделась в мужской наряд и отправилась воевать, чтобы спасти свою страну.

— Женщина?!

Я был сражен. Тот, кого я считал мужчиной, вдруг превратился в женщину. Во что же можно верить, если такой прекрасный рыцарь оказывается женщиной? (У меня и поныне вид женщины, переодетой в мужское платье, вызывает глубокое, необъяснимое отвращение.) Как долго и сладко мечтал я о гибели рыцаря, и вот такое жестокое разочарование! Это была первая месть реальности, испытанная мною в жизни.

Годы спустя я прочел у Оскара Уайльда строки, воспевавшие смерть прекрасного рыцаря:

Прекрасен рыцарь, что лежит, сраженный,
Средь тростника и камыша...

А книгу про Жанну д'Арк после того случая я ни разу больше не раскрыл. Даже не прикасался к ней.

Гюисманс пишет в романе «Там, внизу» о Жиле де Ре, назначенном по приказу короля Карла VII телохранителем к Жанне д'Арк: этот человек, вскоре свершивший «самые утонченные преступления и изысканнейшие жестокости», сделался мистическим злодеем под воздействием невероятных чудес, которые сотво-

рила его госпожа. На меня Орлеанская дева подействовала иначе (я испытывал к ней глубочайшую неприязнь), но и в моей жизни она сыграла немаловажную роль.

И еще одно воспоминание.

Это запах пота. Он подгоняет меня вперед, влечет, манит, я совершенно покорен им...

Я прислушиваюсь и слышу глухой, неясный звук, мерный и грозный гул. Потом трубит труба, доносится, постепенно приближаясь, простая и странно жалобная песня. Я тяну горничную за собой, тороплю — хочу, чтобы она отвела меня к воротам и подняла повыше.

Мимо нашего дома проходили солдаты, возвращавшиеся с учений. Военные любят малышей, и мне всякий раз доставались в подарок пустые патронные гильзы. Бабушка запрещала их брать, говорила, что это опасно, поэтому удовольствие еще и усугублялось чувством нарушения табу. Какого мальчишку не привлекает топот тяжелых сапог, вид грязных гимнастеров, лес винтовочных стволов?! Но меня манило не это, и даже гильзы были не главным — меня влек запах пота.

Солдатский пот, похожий на аромат прилива, золотистого морского воздуха, проникал в мои ноздри и пьянил меня. Наверное, это было первым запомнившимся обонятельным ощущением в моей жизни. Конечно, мое возбуждение еще не было эротическим, просто я

страстно, неистово завидовал судьбе солдата — трагизму его ремесла, близости к смерти, тому, что он увидит дальние страны.

...Таковы были первые, и весьма необычные, картины и образы, запечатленные моей памятью. Они обладали совершенством и с самого начала жизни не покидали меня. В них было все. Они стали источником, из которого в дальнейшем произошли и мое сознание, и все мои поступки.

С ранних лет мое отношение к человеческой жизни полностью совпадало с августиновским постулатом предопределенности. Несмотря на все бессмысленные, тщетные сомнения — а они продолжают терзать меня и поныне, — я ни разу не отклонился от своего детерминизма, почитая любые колебания за духовный соблазн. Можно сказать и так: мне вручили меню, в котором значился перечень всех моих бед, еще до того, как я научился читать. Оставалось лишь повязать салфетку и садиться за стол. Вот и странную эту книгу я, верно, пишу оттого, что так с самого начала обозначено в моем меню.

Детство — это сцена, на которой время и пространство переплетены. Мне, например, представлялись совершенно равнозначными и одинаково существенными и новости внешнего мира, о которых я слышал от взрослых, —

извержение вулкана или какой-нибудь военный мятеж; и наши семейные происшествия — ссоры или приступы бабушкиной болезни; и вымышленные события, разворачивавшиеся в мире моих фантазий. Вселенная представлялась мне не более сложной, чем игрушечный дом из кубиков, и я сомневался, что пресловутое «общество», членом которого мне со временем предстояло стать, окажется увлекательнее и ярче мира моего воображения. Так, незаметно для меня самого, наметилась одна из детерминант моей жизни. Я боролся с ней всеми силами, и от этого мои разнообразные фантазии с самого начала обретали привкус отчаяния, до странности всепоглощающего, а потом похожего на пламенную страсть.

По ночам, лежа в постели, я видел, как во мраке возникает и разрастается некий сияющий город — город удивительно тихий, преисполненный света и загадочности. На лицах обитателей я видел печать тайны. Они возвращались по домам в полночь, в их словах и жестах я распознавал потайной язык, вроде того, каким пользуются масоны. В облике жителей моего города читалась такая ослепительная усталость, что смотреть на нее глазам было больно. Казалось: если мне удастся дотронуться до этих людей, на моих пальцах останется серебряная пыль, как от прикосновения к рождественской маске, и я тогда смогу понять, в какие цвета раскрашивает ночной город своих жителей.

Итак, ночь приоткрыла передо мной свой занавес. И я увидел сцену, где выступала знаменитая иллюзионистка той эпохи Тэнкацу Сёкёкусай. (Она как раз гастролировала тогда в Токио. Через несколько лет в том же самом театре я видел выступление иллюзиониста Данте, куда более сложное и грандиозное. Но ни оно, ни даже представление гамбургского Цирка Хагенбека на Международной выставке не произвело на меня подобного впечатления.)

Тэнкацу неторопливо прохаживалась по помосту; ее пышное тело было облачено в одеяние великой блудницы из Апокалипсиса. Держалась актриса с особой надменностью, присущей лишь фокусникам и аристократам-изгнанникам; от нее исходило какое-то печальное очарование, она казалась романтической героиней. И все это удивительным, меланхолическим образом гармонировало с вульгарным, фальшивым великолепием ее наряда, с кричащей косметикой, как у дешевой певички, с толстым слоем пудры, покрывавшей все ее тело до самых кончиков пальцев, с многочисленными браслетами, усыпанными поддельными самоцветами. Точнее говоря, изящный рисунок тени, отбрасываемой дисгармонией, рождал совершенно по-особому гармоничное сочетание.

Я смутно понимал, что мечта стать таким, как Тэнкацу, по самой своей сути отлична от

мечты стать водителем «цветочного трамвая». Главное различие состояло в том, что в ремесле иллюзионистки начисто отсутствовала «трагичность». Можно было хотеть превратиться в Тэнкацу и при этом не испытывать мучительного чувства, в котором влечение смешивалось со стыдом.

И вот однажды с отчаянно бьющимся сердцем я прокрался в комнату матери и открыл шкаф, где хранились ее наряды.

Я вынул самое роскошное и яркое кимоно, взял парчовый пояс с расписным узором из алых роз и обмотал его вокруг талии на манер турецкого паши. На голову я повязал крепдешиновый платок. Когда я встал перед зеркалом и увидел, что этот импровизированный головной убор делает меня похожим на пирата из «Острова Сокровищ», я весь засветился от возбуждения. Однако до совершенства было еще далеко. Следовало всего себя, до кончиков ногтей, разукрасить так, чтобы свершилось таинственное перевоплощение. Я засунул за пояс ручное зеркальце и слегка припудрил лицо. Потом вооружился длинным серебряным фонариком, старомодной металлической авторучкой и разными другими сверкающими предметами, попавшимися мне на глаза.

И лишь после этого с самым торжественным видом ворвался к бабушке. Там, не в силах сдержать безумный восторг, я закружился по комнате, повторяя:

— Я — Тэнкацу! Я — Тэнкацу!

Кроме больной бабушки, там были мать, кто-то из гостей и сиделка, но я никого не видел. Меня возбуждало то, что на созданную моими руками Тэнкацу смотрят чужие глаза, и я собой любовался. Но внезапно взгляд мой упал на лицо матери — она сидела бледная и какая-то растерянная. Когда наши взгляды встретились, она отвела глаза.

И я понял. Я все понял и залился слезами.

Что же я понял в тот миг, или, вернее, что меня заставили понять? Наверное, впервые мне открылось то, что будет занимать так много места в более поздние годы моей жизни, — раскаяние в еще не совершенном преступлении. Или я извлек другой важный урок: сколь убогим и нелепым выглядит одиночество в глазах любви? И уяснил обратную сторону этого открытия: мне суждено вечно отвергать любовь?

Сиделка схватила меня за руку, утащила в соседнюю комнату и грубо, деловито содрала с меня наряд Тэнкацу — словно цыпленка ощипала.

Моя страсть к маскараду еще более усилилась, когда я познакомился с кинематографом. Это продолжалось лет до десяти.

Однажды я в сопровождении мальчика, прислуживавшего у нас в доме, отправился смотреть музыкальный фильм «Фра Дьяволо». Исполнитель главной роли носил камзол с кру-

жевными манжетами, произведший на меня неизгладимое впечатление. Как мне хотелось обрядиться во что-нибудь подобное! Когда я сказал своему сопровождающему, что с удовольствием надел бы такой же пудренный парик, подросток презрительно засмеялся. А ведь я знал, что он иногда забавляет служанок, изображая перед ними княжну Яэгаки.

Вслед за фокусницей Тэнкацу моими думами завладела Клеопатра. Как-то в снежный зимний день, перед самым Новым годом, один друг нашей семьи, врач, после долгих упрасиваний с моей стороны взял меня с собой в кино.

Народу в зале по случаю приближающегося праздника было совсем мало. Мой спутник немедленно уснул, положив ноги на спинку переднего ряда. И я, совершенно зачарованный, остался наедине с Клеопатрой. Вот царица египетская въезжает в Рим; она сидит в затейливом паланкине, который несут многочисленные рабы. Вот ее скорбные глаза, веки которых сплошь зачернены тушью. А ее не поддающиеся описанию одежды! И еще: ее полуобнаженное янтарное тело, когда Клеопатра поднимается с персидского ковра...

Я стал разыгрывать царицу египетскую тайком от взрослых (я уже отлично знал сладость запретного) перед младшими братом и сестрой. Чем так влекли меня эти женские одеяния, чего я от них ожидал? Много позднее я

узнал, что той же страстью грешил порочный Гелиогабал, один из позднеримских императоров, монарх-декадент, ниспровергший древних богов Рима.

Вот я и рассказал о предвестиях моей грядущей жизни. Напомню: речь шла сначала о золотаре, Орлеанской деве и солдатском поете, а потом о Тэнкацу и Клеопатре.

Теперь я должен поведать еще об одном.

В детстве я обожал читать сказки и прочел их несметное количество, но должен сказать, что появляющиеся в них принцессы никогда мне не нравились. Мне нравились только принцы. Особенно те, которые погибали или были обречены на злую судьбу. Я вообще любил читать про юношей, которых в сказке убивают.

Я еще и сам не понимал, отчего это. Почему из всех сказок Андерсена самую глубокую тень в мою душу заронила одна — «Розовый эльф»? В ней злодей огромным ножом убивает прекрасного юношу в тот самый миг, когда тот целует розу, полученную в дар от своей возлюбленной. А потом злодей еще и отрубает несчастному голову... И из сказок Оскара Уайльда мне больше всего полюбилась одна — «Рыбак и его душа», где волны выбрасывают на берег труп юного рыбака, сжимающего в мертвых объятиях русалку.

Разумеется, нравилось мне многое и из таких вещей, которые любят обычные дети. У Андерсена, например, я часто читал сказку «Соловей», с удовольствием рассматривал комиксы. Но сердце мое неудержимо тянулось туда, где царили Смерть, Ночь и Кровь.

Меня постоянно преследовали видения, в которых присутствовали «сраженные принцы». Объяснит ли мне кто-нибудь когда-нибудь, отчего образ юного принца в восхитительно облегающих лосинах, принца, обреченного на жестокую смерть, вызывал такой восторг в моей детской душе?

Я помню одну венгерскую сказку с замечательными цветными картинками, выполненными на удивление реалистично. Одна из них надолго завладела моим сердцем.

Там был принц, одетый в черные рейтузы, розовый кафтан с золотой вышивкой, синюю мантию с алым подбоем и опоясанный зеленым с золотым ремнем. Голову его венчал такой же золотисто-зеленый шлем, на боку висел ярко-красный меч, за спиной — зеленый кожаный колчан со стрелами. В левой, одетой в белую перчатку руке принц сжимал лук, а правой опирался о ствол могучего дерева. С величаво-меланхоличным выражением лица юноша смотрел вниз, прямо в пасть ужасного дракона, готового на него наброситься. В чертах принца читалась решимость встретить смерть. Если б ему суждено было выйти

из схватки победителем, разве был бы я до такой степени заморожен этой картиной? К счастью, принц был обречен.

Но, увы, гибель его оказалась не окончательной. Для того чтобы спасти сестру и жениться на прекрасной волшебной принцессе, он должен был семь раз вынести испытание смертью. Но во рту у принца имелся заветный алмаз, благодаря которому он всякий раз воскресал и в конце концов добился своего счастья. На моей любимой картинке изображалась его первая смерть — испытание пастью дракона. Потом принца схватит гигантский паук, который пронзит его тело отравленным жалом и «пожрет без остатка». Еще герою сказки предстояло утонуть, сгореть в огне, быть искусанным осами и змеями, свалиться в яму, «утыканную бесчисленными и острыми саблями», пасть под «дождем из огромных камней».

Гибель в пасти дракона описывалась весьма красочно и подробно: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг ожил, тело его срослось, и он выскочил из драконьей пасти! И не было на нем ни единой царапины. А дракон бухнулся оземь и издох».

Я прочел этот абзац раз сто, не меньше. Но предложение «И не было на нем ни единой царапины» казалось мне серьезной ошибкой,

которую непременно следовало исправить. Автор допустил тут огромный промах, он меня предал — так я думал.

И в конце концов я сделал замечательное открытие: оказалось, что можно закрыть пальцами совсем небольшой кусочек текста, и сказка станет идеальной: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг... бухнулся оземь и издох».

Взрослому подобная цензура показалась бы абсурдом. Да и сам юный своенравный цензор отлично видел противоречие между тем, что чудовище изжевало принца целиком, и тем, что он потом «бухнулся оземь и издох», но не желал отказываться ни от первого, ни от второго.

Я часто с наслаждением воображал, как погибаю в бою или падаю, сраженный рукой убийцы. И в то же время я панически боялся смерти. Бывало, доведу горничную до слез своими капризами, а на следующее утро смотрю — она как ни в чем не бывало подает мне с улыбкой завтрак. Я видел в этой улыбке скрытую угрозу, дьявольскую гримасу уверенности в победе надо мной. И я убеждал себя, что горничная из мести замыслила меня отравить. Волны ужаса раздували мне грудь. Я не

сомневался, что в пище отравы, и ни за что на свете не прикоснулся бы к ней. А после завтрака, вставая из-за стола, смотрел в лицо горничной с торжеством: что, мол, съела? Я воображал, что она глядит на остывший, невыпитый бульон вне себя от горя — ведь ее коварный замысел разгадан.

Бабушка запрещала мне играть с соседскими мальчишками, во-первых опасаясь за мое слабое здоровье, а во-вторых не желая, чтобы я учился у них всяким гадостям. Поэтому участницами моих игр были няньки, служанки да еще три жившие неподалеку девочки, специально отобранные бабушкой. Малейший шум — хлопанье дверьми, звук игрушечной трубы, громкая возня — немедленно вызывал у хозяйки дома невралгию в правой коленке, так что играть приходилось только в тихие девчоночьи игры. Посему я с большой охотой проводил время в одиночестве, читая, складывая кубики, рисуя или предаваясь фантазиям. Позднее, когда родились сестра и брат (которых, как меня, не отдали на попечение бабушки), отец позаботился о том, чтобы они росли свободно и привольно. Но я уже не завидовал их шумным забавам.

Другое дело, когда я попадал в гости к своим кузинам. Там от меня требовалось, чтобы я вел себя, «как положено мальчику». Помню один случай. Это было весной того года, когда я начал ходить в школу, мне шел седьмой

Мисима Ю.

М 65 Исповедь маски : роман / Юкио Мисима ; пер. с яп. Г. Чхартишвили. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 256 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-12152-2

Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы (1925–1970) «Исповедь маски», прославивший двадцатичетырехлетнего автора и принесший ему мировую известность, во многом автобиографичен. Ключевая тема этого знаменитого произведения — тема смерти, в которой герой повествования видит «подлинную цель жизни». Мисима скрупулезно исследует собственное душевное устройство, добираясь до самой сути своего «я»...

Перевод с японского Г. Чхартишвили (Б. Акунина).

УДК 821.521

ББК 84(5Япо)-44

Литературно-художественное издание

ЮКИО МИСИМА
ИСПОВЕДЬ МАСКИ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Габовой
Корректор Анна Быстрова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 06.02.2019. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 11,28. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.rф
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-VAK-20185-04-R